



# Даль свободного романа

---



Аркадий МАР

## ИНТЕРНАТ

### Старая фотография

Чтобы сократить дорогу, я пролезаю сквозь дыру в заборе – там не хватает металлического прута, и оказываюсь на школьном дворе. Густая чернильная темнота до краев заполняет его. Небо тоже густое и темное, но по этому двору я хожу не один год и с закрытыми глазами могу рассказать о нем все.

Сейчас будет клумба, где растут ромашки. За неё отвечает четвёртый класс, ухаживает, охраняет, но все равно с каждым днем цветов становится все меньше и меньше, и уборщица Зина ворчит, выметая из классов нежные цветочные лепестки – наши «любит не любит».

Я осторожно обхожу клумбу, иду вдоль, свежевыбеленной, приятно пахнущей сыростью стены. Теперь до сентября стена будет ослепительно чистой, как первая страница новой тетради. До сентября – пока ученики углем, фломастерами и краской не оставят на ней отметины. Низко-низко, у самой земли, малыши первого класса нарисуют неуклюжие дома, деревья. Чуть выше будут скакать звероватые мустанги третьего класса, палить из всех пушек танки и самолеты пятого. Над ними, седьмой изобразит рыцарей в латах и мушкетеров в развевающихся плащах. А наискосок шестиклассник Матюнин, конечно, огромными буквами выведет: «Ленка Воробьева дура и задавака!».

Я заворачиваю вдоль стены и подхожу к двери. Из окна рядом струится свет, освещая кусочек асфальта. По привычке, смотрю на туфли – чистые ли – и костяшками пальцев осторожно стучу. Из холла слышатся шаги тети Паши – нашего ночного сторожа. Ее лицо принакает к стеклу, вижу, как она близоруко щурится, пытается рассмотреть меня. Тогда я шагаю из темноты в освещенный квадрат – тетя Паша улыбается, суетясь достает ключи, еще секунда, и я вхожу...

Мы сидим в столовой, пьем чай. Тетя Паша подливает и подливает из старого чайника с жестяной нашлапкой на носу в мою пиалушку, и я маленькими глотками отхлебываю душистый напиток.

Пустая столовая кажется еще больше может потому, что столы аккуратно сдвинуты к стенам и пирамиды поставленных друг на друга стульев возвышаются до самого потолка.

Мы с тетей Пашей не привыкли к такой гулкой тишине и, наверное поэтому, переговариваемся понизив голос...

Уже две недели, как окончился учебный год, давно прошли экзамены у музыкантов, просмотры у художников, все разъехались по домам или в лагерь в Чимгане, и во всем интернате наступила эта необычная тишина. Первые дни я даже радовалась ей. Можно было не бояться ночных воститателей, ровно в половине десятого выключавших телевизор и загонявших нас в спальни. Музыкальные классы– все двадцать пять– стояли теперь свободными, и не нужно было рассчитывать каждую минуту своего расписания.

О том, что будут строить еще один корпус, мы знали давно, и директор Людмила Алексеевна любила рассказывать про новый концертный зал, просторные художественные мастерские, крытый бассейн, поэтому после летних каникул, первым делом, мы с надеждой смотрели по сторонам. Но по каким-то причинам строительство все откладывалось и откладывалось, и академконцерты по-прежнему проходили в стареньком тесном физкультурном зале. Уроки физкультуры тогда срывались, а веселый физкультурник Роберт болел за нас перед страшной дверью за которой сидела комиссия. Смешно округлив глаза, он хлопал нас по плечам и спинам, весело приговаривая:

– Э-э. На брусьях работаете?

– Работаем, – отвечали мы.

– Кувырок делать научились?

– Научились!

– А сейчас что боитесь? С брусьев упасть можно. А со стула перед роялем? Ну-ка, хором!

И мы в полголоса повторяли:

– Нельзя. – Вот видите!– смеялся Роберт. А нам почему-то становилось немного легче...

– Ты возьми, возьми еще колбаски-то, оголодала небось, – заботится обо мне тетя

Паша.

– Не могу больше, – честно отказываюсь я. – В консерваторском буфете перекусила.

– В буфете? – презрительно переспрашивает тетя Паша. – Знаем эти буфеты, небось кроме холодных пирожков там и нет ничего. Давай, рассказывай, как дела. Узнала насчет экзамена?

– Ага. Списки абитуриентов уже вывесили. Моя фамилия четырнадцатая. – Вот и хорошо, выспаться успеешь. Не бойся, я тебя ровненько в девять утра разбуджу.. Да, чуть не забыла. Погляди. Днем старый шкаф в учительской разбирала и нашла, – тетя Паша протянула мне фотографию.

Я беру фотографию с оторванным правым уголком, и вдруг взгляд упирается в знакомое испуганное лицо.

– Третье в первом ряду, – механически отмечаю я.

– Вижу, узнала себя-то, – говорит тетя Паша. И обрадованно добавляет:– Я тот день хорошо помню. Тогда тебя в интернат и привезли. А фотограф этот точно, после обеда пришел. Я ему еще фотографию дочки заказала увеличить... Ой, что же это я заговорила. У тебя же завтра экзамен, пора спать. – Тетя Паша, мне еще нужно позаниматься. – Ну смотри, смотри, – недовольно ворчит она, протягивая связку ключей от музыкальных классов.

По лестнице– ровно девятнадцать ступенек я поднимаюсь на второй этаж. Пустой узкий коридор неожиданно громко отражает мои шаги и, может поэтому, со стен сурово смотрят портреты великих композиторов. Но я открываю оббитую потрескавшимся коричневым дерматином дверь родного двадцать четвертого класса, нащупываю в темноте выключатель. Мигнув, под потолком загораются лампы дневного света, и нагревшись, начинают тихо и уютно гудеть.

Старенький «Блютнер» грустно и сиротливо стоит в углу, а когда подхожу и прикасаюсь к его полированному боку, напрягается под моей ладонью. Я открываю крышку, кладу руки на клавиши– на них остались капли моего пота и, чтобы разыграться, начинаю до минорный этюд Шопена. Я беру самый медленный темп, равномерно подгибая пальцы, и длинные, на всю клавиатуру пассажи четко, будто марширующие по плацу солдаты, проходят мимо меня стройными рядами. Потом не выдерживаю и, словно в холодную воду, ныряю в предельный темп. Первый палец правой руки колоколом выводит темугулкие, длинные ноты тяжело падают в тишину пустого класса, заполняют его до краев, и я, с перехваченным горлом, оглушенная этим колоколом, вдруг влетаю в пронзительно чистый до мажор и замираю без сил на последнем аккорде. Чтобы отдохнуть, вытаскиваю фотографию, которую мне дала тетя Паша, снова нахожу свое испуганное лицо.

Третье в первом ряду. Неужели это первый день? Самый первый из многих моих дней в этом интернате?...

...Я одиноко стою в длинном школьном коридоре. Мне грустно и хочется плакать. – Новенькая? – обращается ко мне женщина в белом накрахмаленном халате. – Твоя фамилия Квасникова? Квасникова Маша?

– Да, – шевелятся мои губы, а я почему-то не могу оторвать взгляд от кромки синего платья, виднеющегося из-под халата.

– Ты теперь, Машенька, будешь в моем классе, – говорит женщина и, как маленькую, ведет за собой. – Зовут меня Галина Римовна, я старший воспитатель седьмого «Б». У нас хорошо, – утешает она по дороге. – Класс дружный, веселый. Я киваю, и вдруг из глаз начинают катиться слезы. В голове прыгают и скачут картинки– как с отцом ночным поездом едем в Ташкент. Отец гладит меня по волосам, говорит, как было бы чудесно, если меня бы приняли в эту школу-интернат для одаренных детей, а если примут, то должна учиться на четверки и пятёрки. От прикосновения его большой жесткой ладони хочется спать. Я смотрю в темное вагонное окно, зашторенное занавесками и перед тем, как совсем провалиться в сон, последнее, что удерживаю в памяти– тоненькое дребезжание ложечки в стакане, стоящем на столике в купе...

И другая картинка. Отец заходит в кабинет директора, а я, примостившись на краешке стула, долго жду и наблюдаю, как чем-то расстроена секретарша зло стучит по клавишам пишущей машинки. Наконец появляется отец, мы поднимаемся на второй этаж, где меня должны прослушать и решить судьбу, а навстречу по лестничным перилам ловко съезжает наголо остриженный мальчишка и, обернувшись, показывает мне язык.

Меня заводят в класс, спрашивают, где и у кого училась, что буду играть. Садясь за инструмент, слышу, как кто-то говорит: «Чему могут научить в этой провинции», прикасаюсь к клавишам незнакомого инструмента и в следующую секунду, забыв про все на свете, начинаю «Масленицу» Петра Ильича Чайковского...

По синеватому слежалому снегу несутся бешеные тройки. Серые в яблоках рысаки с заплетенными в густые гривы разноцветными лентами нутужно храпят, стараясь обогнать друг друга. И болтаются и серебрено вызванивают укрепленные на расписных дугах колокольчики...

... Мы стоим с отцом у школьных ворот, он старается незаметно смотреть на часы – боится опоздать на обратный поезд – и, целуя меня, утешает, что время пробежит быстро: всего-то сентябрь, октябрь, ноябрь, а уже в декабре он приедет опять, и какая большая и пушистая будет на Новый год дома елка и целых две недели каникул, а главное, меня все-таки приняли... Перед тем, как завернуть за угол, оборачивается, и мне потом еще долго-долго снится его лицо...

– У нас новая ученица, – представляет меня Галина Римовна .

В классе в три ряда стоят свежеекрашенные черной краской металлические парты с откидными деревянными сидениями и крышками, а за раскрытым окном над острой вершиной тополя, словно разделившего небо пополам, стоит похожий на яичницу-глазунью круглый солнечный желток.

Я иду к свободному месту, сажусь за парту, и чувствую как весь класс внимательно рассматривает меня.

Рядом сидит смуглый, с чуть раскосыми глазами мальчик. – Меня зовут Пулат, – знакомится он со мной. И добавляет: – Теперь в классе чёт – двенадцать музыкантов и двенадцать художников. А ты приходящая? – Какая? – Приходящая. Ну та, кто в школу из дома приходит. – Нет, я здесь буду жить. – Пулат! Не мешай классу работать! – делает замечание Галина Римовна, и мой сосед шепчет, пододвигая учебник.

– Делай вид, что читаешь, а то Галина Римовна не любит, когда на самоподготовке разговаривают.

– В моей предыдущей школе никакой самоподготовки не было, – тоже шепотом удивляюсь я.

– Это для того, чтобы вечера были свободны для занятий специальностью. Звонок звенит неожиданно резко и отрывисто, замолкает на мгновение и снова рассыпает по школе гулкую металлическую трель.

– Пошли, – предлагает Пулат. – Я тебе все покажу...

Мы облазили спальни, художественные мастерские, покатались в спортзале на канате и усталые, наконец присели отдохнуть на скамейке.

– Посмотри, – сказал Пулат. – Правда солнце похоже на тюрбан? Оранжевый тюрбан, нахлобученный на тополь. И цвет какой мягкий. Знаешь, его очень трудно передать. Мне пока не удастся, – вздохнул он. Потом предложил:– Хочешь, тебя нарисую? – Не знаю. Меня никто еще не рисовал. А сможешь? – Постараюсь. Все говорят, у меня линия певучая. Как у Нади Рушевой. – Она твой любимый художник? – Да. И еще мне нравятся все-все художники-пейзажисты ... А тебе кто из композиторов? – Бах. – Да ну! Я видел его портрет. Мне кажется, он такой скучный.

– Много ты знаешь!– обижаюсь я. – Бах сочинял лучшую музыку на свете! – Пулат! Маша! Где вы ходите? – слышался голос Галины Римовны. – Идите скорее, фотограф ждет!

Тесно прижавшись друг к другу, чтобы попасть в кадр, мы стоим на школьном дворе и смотрим на фотографа. Он долго возится с аппаратом, потом, прищурив один глаз, молча оглядывает нас и говорит, показывая на меня:

– Девочка, да-да, вон ты. Ну-ка, пройди сюда!

Потом берет за руку и ставит в первый ряд. Третьей в первом ряду. Я напряженно и испуганно всматриваюсь в объектив и вместе со щелчком затвора успеваю заметить, как Пулат строит мне смешную рожицу.

– Эй, седьмой класс!– кликает нас рослая девица, небрежно помахивая сумочкой с торчащими из нее нотами. – Квасникова у вас имеется? Передайте, что в двадцать четвертом классе ее педагог по специальности ждет.

– Тебя проводить? – предлагает Пулат. – Не нужно, – отказываюсь я и направляюсь на второй этаж...

Из-за двери слышится музыка, я тихонечко приоткрываю её, вижу профиль молодого мужчины, сидящего за роялем. У него курносый нос и зачесанные назад каштановые волосы.

Он поворачивается ко мне, снимает руки с клавиатуры, порывисто встает и говорит, улыбаясь:

– Входи и давай знакомиться. Зовут меня Виктор Константинович. А фамилия самая простая– Калашников. Ты как, калачи любишь?

– Люблю, – оторопело отвечаю я. И тоже улыбаюсь. – Вот и прекрасно... Маша, хочу тебя попросить. Расскажи о себе. – Что? – Мне все интересно. Когда начала заниматься на фортепиано? Любишь ли музыку? – Очень. – А почему так односложно? Не стесняйся. – Я не стесняюсь. – Ну хорошо. Тогда я расскажу о себе. Можно? – Конечно! – Родители вспоминают, что на музыку я, представляешь, начал реагировать месяцев с четырех. Мама играла на скрипке, я пытался что-то подпевать. А когда плакал, отец включал проигрыватель и ставил пластинки с вальсами Шопена. Смешно, правда?.. Потом окончил семилетку, музыкальное училище, консерваторию... Но давай подумаем над твоей программой.

Может самой хочется выбрать? – Токкату и фугу ре минор Баха! – выпалила я. – Так сразу и токкату, – смеется Виктор Константинович. – Она, Машенька, еще сложна для тебя. Потерпи, года через два, обещаю, обязательно за нее возьмемся. А пока тебе полезно пройти несколько инвенций Иоганна Себастьяна Баха. Послушай эту, ми мажорную, – его крупные руки с чуть приплюснутыми кончиками пальцев уверенно легли на клавиатуру, и он заиграл...

...Рассохшаяся половица громко скрипнула, и Иоганн Себастьян испуганно замер. Потом прислушался. Но нет, из-за двери, что вела в спальню брата, по-прежнему раздавалось равномерное похрапывание. Городские часы на Ратуше пробили два раза, и их звуки, еле слышные в доме, успокоили Баха. Он осторожно спустился по лестнице в большую комнату, подошел к потемневшему от времени шкафу. Иоганн Себастьян любил проводить по нему ладонью – старое дерево казалось на ощупь теплым, живым. Иоганн Себастьян просунул руку сквозь решетчатую дверцу шкафа, привстал на цыпочки. Его пальцы коснулись мягкого переплета тетрадки, и он медленно начал придвигать ее к себе. Потом свернул в трубочку, вытащил через узкое отверстие. Бережно прижав к себе, прошел узким коридором через кухню, открыл дверь черного хода, выскользнул в сад. Там он устроился на огромном пне и при ярком свете луны открыл тетрадку. Достал маленький пузырек с чернилами, перо. На минутку остановился. Уже шесть месяцев переписывает он эту тетрадку, в которой находятся пьесы лучших композиторов Германии. Брат считает его, Иоганна Себастьяна, еще маленьким и не разрешает брать тетрадь. Но сегодня ночью он, наконец, закончит свою работу и тоже попробует сочинять такую же прекрасную музыку. Он знает, чувствует, что сможет, ведь музыка оживает в нем, когда он садится за клавиш или берет в руки скрипку. Иоганн Себастьян обмакнул перо в чернильницу, быстрым мелким почерком вывел первые такты хорала. Он торопился, переписывая этот прекрасный хорал, торопился, поёживаясь от ночной прохлады, пока светила луна, и звонкая кукушка отсчитывала годы чьей-то жизни... Потом он тихо проберется обратно в дом, положит тетрадь брата на место, разделется, ляжет на узкую неудобную кровать.

Иоганн Себастьян был доволен. Стопка нотных листов аккуратно была засунула под подушку и, уже засыпая, все-таки припомнил, сколько же раз прокуковала кукушка. Ровно шестьдесят пять...

Сейчас ему только десять. Иоганн Себастьян Бах крепко спит и не знает еще, что завтра брат отберет у него с таким трудом переписанные ноты.

Получит он их обратно очень и очень не скоро, через долгих двадцать шесть лет, когда брат умрет...

– Вот эту инвенцию и возьмем, – окончив играть, сказал Виктор Константинович. – К следующему уроку разберешь ее до конца, плюс четыре гаммы. Справишься? – А еще токкату можно? – Знаешь, мне нравится, что ты такая упрямая, – говорит Виктор Константинович. И разрешает: – Хорошо!

После ужина я зубрю скучные гаммы, слушаю как в соседнем классе кто-то страшно фальшивит на скрипке. Мои натруженные руки гудят, я останавливаюсь, достаю ноты

токкаты, вспоминаю, как с отцом были в городе Риге, зашли в знаменитый Домский собор и медленно перелистываю страницы.

ТАТАТАМ! ТА-ТА-ТА-ТА-ТА-ТАМ! Огромная стена звука чуть не придавливает меня. Большой орган Домского собора торжественно вырывает первые такты токкаты, потом вдруг резко убирает звук, и одинокая тема в верхнем регистре медленно плывет вверх, под высоченный готический купол, а мы с отцом стоим, прислонившись к колонне и, закрыв глаза, слушаем...

Заканчивайте, через полчаса отбой – приоткрыв дверь, предупреждает дежурный воспитатель, и я, опустив крышку рояля, иду в спальни.

За окном, на школьном дворе ветер играет ветками деревьев, где-то еле слышный приемник рассказывает про Кондапожский целлюлозный комбинат, блестящая луна, будто что-то хочет сказать, пристально смотрит на меня, но я переворачиваюсь на другой бок и засыпаю...

## Репетиция

Наступила осень и начались дожди. Они лили и лили целую неделю и в спальнях на потолках проступили мокрые пятна. Из них медленно сочилась вода, мы подставляли ведра, тазы, а расстроенный директор Людмила Алексеевна ругала строителей. Деревья в интернатовском саду тоже стали какими-то грустными, мы поднимались на четвертый этаж, прижимались лицами к оконным стеклам и смотрели вдаль. Сквозь густую сетку дождя было плохо видно, силуэты домов, людей, машин казались размытыми, утратившими четкость и стройность линий...

К двери физкультурного зала тремя кнопками припилен листок бумаги в клеточку. На нем выписано время репетиции каждого педагога, ведь перед академконцертом обязательно нужно приноровиться к звучанию новенькой «Эстонии». Купленная месяц назад, она отпирается только на академконцерты, а затем, бережно укутанная толстым серым чехлом, снова будет отдыхать до летних переводных экзаменов.

Старый рояль «Блютнер», стоявший еще недавно на ее месте, перенесенный старшеклассниками в двадцать четвертый класс, превратился в каждодневный рабочий инструмент и интернатовский настройщик Игорь раз в неделю копается в его внутренностях и вздыхает, подтягивая ключом разболтанные калки.

С Танечкой Полянской – независимой выпускницей – одиннадцатиклассницей – мы стоим перед дверью зала. В нем репетирует педагог Романова. Наш учитель Виктор Константинович поминутно смотрит на часы и переживает. – Безобразия, – возмущается Танечка. – Мало того, что дали репетировать всего сорок пять минут, так еще чужое время занимают. Виктор Константинович, вы обязательно должны зайти и потребовать, чтобы освободили зал! Виктор Константинович краснеет, приоткрывает чуть-чуть дверь в зал. – Сейчас, сейчас, – робко говорит он. – Пусть сонату Грига доиграют. Такую музыку прерывать нельзя.

– Подумаешь, – отзывается Танечка и мельком глядит на изящные швейцарские часы. – Тогда я первая репетирую, – заявляет она и снисходительно поясняет:– Дел сегодня по горло, полный цейтнот.

Но вот дверь открывается, и педагог Романова гордо шествует мимо нас, что-то сердито выговаривая своей ученице.

Мы наконец попадаем в зал, Танечка небрежно вешает сумочку на спинку стула, садится за рояль, лихо, двойными октавами пробегает клавиатуру и сразу же начинает шопеновскую прелюдию.

– Таня, нельзя же так, – останавливает ее Виктор Константинович. – Ведь это одно из самых поэтичнейших произведений. Представь... остров Майорка, и Шопен ждет Жорж Санд, женщину, которую любит.

Танечка состроила недовольную гримасу и начала сначала.

Я оглядываюсь на Виктора Константиновича. Он смотрит в окно на тусклое бесцветное небо, на дождевые капли, беззвучно разбивающиеся об оконные стекла. И мне кажется, что он унесся из этого тесного зала со шведскими лестницами вдоль стен и свисающим с потолка канатом далеко-далеко, может на этот самый таинственный остров Майорку, где Шопен ждал Жорж Санд, женщину, которую любил.

– Достаточно, – наконец говорит Виктор Константинович. – Вы, Таня, можете идти по своим делам.

– Но я же еще сонату не сыграла! – Не нужно. – Почему? – Мне кажется, если сядишь за инструмент, нельзя просто отбывать номер! – Виктор Константинович, – успокоительно произнесла Танечка. – Да не волнуйтесь вы так, Все равно поступлю в консерваторию. И на «академе» пятерку получу... У меня все годы были одни пятерки.

– Заслуженно? – Какое это имеет значение. Ставили же! – Музыкант, если, конечно, он хочет стать музыкантом, судит себя сам. И строго. – Подумаешь, обижается Танечка. – Мне и так все легко дается. Если хотите знать, я любую вещь могу за неделю выучить наизусть. И в темпе!

– Но ведь это еще не все. – Вы... вы ко мне просто придираетесь, – говорит Танечка и спрашивает:– Так можно идти?

– Да, да, пожалуйста. Полянская достает косметичку мельком заглядывает в зеркальце, приглаживает челку, подправляет помадой губы, выходит из зала.

– Давай, Маша, – просит меня Виктор Константинович. И вздыхает.

– Начни с полифонии. Только помни, на этом инструменте басовый регистр глуховатый. Я подхожу к роялю, удобно сажусь, пробую педали и начинаю моего любимого Баха...

– А знаешь, Маша, – вдруг говорит Виктор Константинович, – эту и токкату фугу Бах сочинил, когда вернулся из Любека обратно в Арнштадт.

– Зачем он туда ездил? – Не ездил, а ходил. Пешком. За триста семьдесят километров.

– Почему же пешком? – У него не было денег нанять карету. – Расскажите, – прошу я. – Пожалуйста. – Хорошо, – соглашается Виктор Константинович. Его негромкий голос звучит в тишине пустого зала и я закрываю глаза...



...Октябрь 1705 года в Германии выдался дождливым. Узкая раскисшая дорога, петляя карабкалась на высокий холм, и когда Иоганн Себастьян Бах поднялся на него, то в сероватой мгле холодного утра, вдали, наконец, увидел остроконечные шпили и башни вольного императорского города Любека. Почти две недели шел он пешком сюда, чтобы послушать игру великого мастера Дитриха Букстехуде. На минуту вспомнился Арнштадт. Как глупо выглядело заплывшее жиром лицо суперинтенданта, объявившего ему о назначении органистом Новой церкви. «Господин Бах, служба будет отнимать у вас три дня в неделю. В воскресенье с восьми до десяти утра, четверг с семи до девяти, в понедельник вечером, кроме этого, вам вменяется в обязанность заниматься со школьным хором»... Арнштадский орган! Двадцать четыре регистра, два ручных мануала, ножная клавиатура. Какой музыкальный инструмент может сравниться с ним! Таинственно блестят десятки больших и малых труб, звучащих на разные голоса. Будто сразу все инструменты симфонического оркестра заключены в них. От нежной флейты до грубоватого тромбона. А как похоже может орган передавать завывание ветра, грохот морского прибоя, обвал в горах и шум леса, подчиняясь прихотливым изгибам импровизаций...

Ученье в Лüneбурге, скучная служба в герцогской капелле в Веймаре. Но сейчас появилась хоть какая-то самостоятельность. Возможность сочинять музыку, совершенствоваться в игре на органе, скрипке, альте, клавесине. Но он еще не достиг совершенства. Он это ясно чувствует. Совершенства, позволяющего назвать себя мастером. И поэтому пришел теперь в Любек: слушать и учиться у мастера Дитриха Букстехуде, органиста Мариенкирхе– церкви святой Марии...

Узкие улочки, где лавки украшают затейливые вывески выводят Баха на широкую площадь с красивой церковью.

Он входит во внутрь, поднимает голову. Лучи неяркого солнца заглядывают через узкие цветные стекла, высвечивая золоченную оправу органа, вдохновенное лицо старого Букстехуде. Старый мастер играет торжественный хорал, и Бах напряженно старается понять, запомнить искусные повороты мелодии. Но вот замер, растворился последний аккорд, Иоганн Себастьян порывисто встает и по узенькой лестнице спешит вверх, на хоры, где усталый Букстехуде вытирает большим клетчатый платком потное лицо. Услышав шаги, он оборачивается, и, наконец, они встретились. Знаменитый органист и никому еще неизвестный Иоганн Себастьян Бах...

Наступил новый 1706 год, но Бах все еще не мог покинуть Любек, расстаться с Букстехуде. И вместо разрешенных четырех недель, задержался здесь на четыре месяца. Только в феврале Бах отправился в обратный путь. Он идет по дорогам Германии, и звучит и просится наружу музыка, живущая в его душе...

...«ПРОТОКОЛ, составленный графской консисторией в Арнштадте по делу органиста Новой церкви Иоганна Себастьяна Баха, который долгое время без разрешения находился вне города, пренебрегая фигуральной музыкой... .. вводил в хорал много странных вариаций, примешивал к нему много чуждых звуков, чем приводил в смущение общину...»

– Что за недопустимые вольности в исполнении хоралов! – Как мог органист во время проповеди уйти в винный погребок! – Бах не умеет ладить с хористами! В консисторию поступила жалоба от фоготиста Гейерсбахала!..

За длинным столом сидят уважаемые члены церковной общины– консистории. Под завитыми париками Иоганну Себастьяну хорошо видны их надменные, тупые лица. Они обвиняют его! – Я находился в Любеке, чтобы там совершенствоваться в некоторых отношениях свое мастерство...

– Да, я действительно назвал лентяя Гейерсбахала «свинячьим фоготистом», но он ужасно плохо играет на фоготе и портит звучание всего оркестра... – Священник так долго читает проповедь, что я замерзаю на хорах за органом... – Господин органист, – суперинтендант, еще больше заплывший жиром за время отлучки Баха, опираясь кулаками о дубовый стол, тяжело поднимается с места, громко откашливается. – Господин органист, – повторяет он. – Нашей церкви не нужны музыканты с независимым характером. Или вы будете выполнять, что предписываем мы, или подбирайте другое место службы. А пока все ваши провинности будут внесены в протокол... Господин писец, составьте оный...

...Лето 1707 года в Германии выдалось жарким, и, шагая по пыльной дороге из Арнштадта в Мюльхаузен, усталый Иоганн Себастьян остановился возле маленького крестьянского домика, крытого красной черепицей, попросил пить. Девочка лет двенадцати, напевая что-то, загнала упирающуюся корову во двор, вынесла Баху большую фарфоровую чашку молока, и вдруг улыбнулась ему. – Тяжело? – спросила она, указывая на туго набитый мешок, который Бах опустил на землю.

– Тяжело, – подтвердил Бах и тоже улыбнулся. – А что там? – Книги и ноты. И он снова поднял мешок на плечо... К вечеру он, наконец, придет в Мюльхаузен и после пробного выступления будет принят на место органиста...

Ему будет положено содержание: 3 меры зерна, 2 сажени дров, 3 фунта рыбы и 85 гульденов...

...Виктор Константинович остановился, помолчал, потом спросил: – Маша, знаешь, для чего я рассказал эту историю? Мне кажется, вы представляете композиторов, живших сто, двести, триста лет назад, скучными, желчными людьми, только и знавшими, что сочинять трудные фуги, сонаты, этюды. А-а, прав я, или нет?... Но ведь они тоже были молоды, страдали от непонимания, влюблялись, наконец... Представь себе. Молодой, пылкий Бах, изящный Шопен, увлекающийся Лист... Все, все, мы закончили! – повернулся Виктор Константинович к дверям. Там уже стояла преподаватель Горбунова и нетерпеливо постукивала по циферблату наручных часов пальцем с длинным ярко-красным ногтем.

– Извините, уже уходим, – повторил Виктор Константинович, и мы пошли к выходу. – Одну минуточку, – остановила его Горбунова и приказала своей ученице:– Мариночка, деточка, ты пока разыграйся.

Затем взяла Виктора Константиновича за рукав:

– Мне крайне неприятно заводить этот разговор, – начала она, – но дело в том, что я в курсе. Ваши отношения с Танечкой Полянской, как говорится, не сложились. Нет-нет, не спорьте. А она девочка с нежной, где-то даже ранимой душой... Виктор Константинович, вы в интернате человек новый, недавно сами окончили консерваторию, и пока притретесь, привыкнете к педагогическому процессу. Нет-нет, я, конечно, вас уважаю и исполнитель вы неплохой, говорят, к республиканскому конкурсу готовитесь... Дай, как говорится, бог, но бывает, и у меня бывало, не сложится с учеником, бьешься, бьешься, а– никак. Так вы не обижайтесь. Танечка хочет перейти ко мне в класс. Я уже и ее отцу звонила, он не возражает. А к его мнению обязательно нужно прислушаться. Он такой пост занимает! Кстати, прекрасный человек. И тоже с нежной и ранимой душой. Так как же? – Пожалуйста, – сухо ответил Виктор Константинович. – Желая успеха... Только считаю, раз Полянская была моей ученицей, то и надо было ей сказать об этом самой. – Ну зачем вы так, дорогуша. Не принимайте близко к сердцу. Хотите совет? Сколько у вас еще учеников перебивает! Десятки, если не сотни. Так стоит ли на каждого тратить здоровье, нервы? Что такое работа? Маленькая часть проявления нашего бытия. Маленькая часть. И не нужно из нее раздувать большую... Ладно, ладно, не будем спорить– взглянув на Виктора Константиновича произнесла Горбунова и повернулась к ученице:– Мариночка, ты уже разыгралась? Тогда начинай Баха. И вспомни его портрет. Тот, где он в камзоле и в парике. Одним словом, очень серьезный композитор...

Мы идем назад в родной двадцать четвертый класс, и я вижу как расстроен мой педагог.

– Виктор Константинович, – вдруг неожиданно для себя говорю я. – Я от вас никогда-никогда ни к кому не перейду.

– Спасибо, Маша, – улыбается он. – А вы правда, к конкурсу готовитесь? – Да, только не знаю, что из этого выйдет. Мы пришли, Виктор Константинович порывисто поднял крышку рояля, тихо попросил: – Послушай, – его руки легли на клавиатуру, и светлая, прозрачная до мажорная прелюдия, с которой начинается баховский «Хорошо темперированный клавир», зазвучала в классе...

Поздним вечером дождь, наконец прекратился. Я распахнула окно спальни и, поёживаясь от свежести, натянув на себя одеяло, посмотрела на блестящее, будто свежеемытое небо. И мне почему-то вспомнилось: узкая, раскисшая дорога, сероватая мгла холодного утра, и молодой Иоганн Себастьян Бах, идущий в город Любек слушать игру мастера Дитриха Букстехуде.

## **Я вас никогда не забуду**

Сегодня мы освобождены от уроков– дежурство в столовой. Нас пятеро: Ира, Равшан из шестого класса, десятиклассница Синицына, я и Пулат. Встали мы раньше всех– без пятнадцати восемь завтрак должен быть уже на столах. Когда мы пришли в столовую, то первым делом заглянули в меню– маленький листочек, висящий возле раздаточного окна. И

как назло, на второй завтрак в листочке значилась колбаса! Значит, придется нарезать триста пятьдесят семь порций и проследить, чтобы честно досталось всем. А то старшеклассники живо утянут по лишнему куску. Обед: борщ, гречневая каша с жареным толстолобиком–сегодня в интернате один из двух «рыбных дней». И еще кисель, от неистребимо въедливого запаха карболки, в которой полощут стаканы, прозванный «медицинским».

Наконец, ужин: рисовая каша с молоком.

Потом уборка столовой и наша следующая очередь дежурить наступит через двадцать четыре дня. А пока, надев белые фартуки, мы приступаем.

Засоня Равшан ежеминутно зевает, мне тоже хочется спать, но я терплю. Пока мальчишки снимают со столов стулья, и расставляют их, мы с Синицыной накрываем столы. Шесть стаканов, столько же глубоких тарелок, ложки, хлебница– готово! Стаканы, тарелки, ложки, хлебница– этот тоже накрыт. Потом нужно будет еще нарезать гору хлеба, разлить по стаканам чай, переложить черпаком из огромных, дышащим жаром кастрюль в тазы манную кашу и наполнить ею тарелки. Мы едва справляемся со всем этим, как в дверях столовой показывается строй первоклашек во главе с воспитательницей. За ними второй класс и скоро столовая наполняется привычными звуками...

После завтрака мы сидим за столом и нарезаем толстые колбасные батоны на аккумуляторные кругляки.

– А наш класс едет на зимние каникулы в Питер!– небрежно бросает Синицына. – Ну да-а, – недоверчиво в один голос переспрашиваем мы. – Откуда знаешь? – Классный руководитель сказал. Под большим секретом.

– Мы что, хуже? – обидчиво заявляет Равшан. – Да с вами в дороге хлопот не оберешься, – объясняет Синицына. – Вот, перейдете в десятый, тогда поедете.

– Подумаешь, взрослые, – обижается Равшан. – Мы... мы, кстати у вашего класса в футбол выиграли. Со счетом 5:2!

– Если хочешь знать, мы специально поддались, чтобы маленьких не обижать – Ой-ой-ой, сказала тоже, не обижать. Тогда давайте опять сыграем!

– А я уже была в Питере, – гордо сообщила Синицына. – Целый месяц у родственников гостила. – Расскажи об этом городе, – прошу я. – И про улицу зодчего Росси, – добавляет Пулат.

– Зодчего Росси?.. – переспрашивает Синицына. – А-а, вспомнила! Это недалеко от магазина «Гостинный двор». Сначала будет скверик перед театром. Там еще пенсионеры всегда сидят, в шахматы играют. Тут эта улица и начинается. – Как же она выглядит, – интересуется Ира. – Ничего особенного. Короткая, узкая. Только и радости, что на этой улице хореографическое училище. Я как раз видела, как оттуда балерины выходили. Сами худые, а одеты прямо как картинки, по последней парижской моде! – А я читала, что эта улица считается самой красивой в мире, – заметила я. – Подумаешь, – не согласилась Синицына. – По-моему, есть улицы гораздо красивее. – Если бы я был в Питере, – вдруг тихо произнес Пулат, – то рассказал бы о ней совсем не так...

– 244, 245, 246... – Уф!– Равшан остановился, вытер лоб рукавом. – Пока эту колбасу нарежешь, испотеешь весь.. Маша, сколько еще осталось?

– Сто одиннадцать кусков, – быстро считаю я. – Двадцать минут работы, – добавляет Синицына. – Поднажмем? – А у меня сегодня день рождения, – сказал Пулат. – Что же ты молчишь, – дружно удивляемся мы. – Поздравляем! – Только подарка нет, – говорит Синицына. – Но ничего, считай, он за нами.

– Когда я была маленькой, то перед днем рождения старалась не спать всю ночь, – призналась Ира.

– Зачем? – удивился Равшан. – Чтобы не пропустить, когда наступит этот день. – Ну и как, не пропускала? – Не-а, все равно засыпала. – По-моему, – говорю я, – в день рождения обязательно должно что-нибудь произойти.

– Что? – спросил Пулат. – Не знаю. Но обязательно хорошее. – Правильно. Например, я в этот день нашла собаку, – подтвердила Синицына. – Пошла в булочную, смотрю– собака. Лежит возле дерева и скулит. А все равнодушно проходят мимо. Я собаку домой и привела.

– Где она сейчас? – поинтересовался Равшан. – С нами живет. – А кто с ней гуляет? – Когда из школы возвращаюсь, то я. А утром– мама. – Вы в многоэтажке живете? – спросил Пулат. – Да, на девятом этаже. – Тогда твоей собаке очень плохо. – Она привыкла. Часто выбегает на балкон, кладет лапы на перила и долго смотрит вниз.

– Видишь, а ты говорила– привыкла. Собаки должны жить на земле. Вот моя никогда-никогда бы не смогла жить в многоэтажке.

– У тебя тоже есть собака? – спросила Ира. – Конечно! Орос. Настоящая пастушеская собака! – Ой, я, кажется, про телевизор в какой-то передаче видела, как в Австралии пастушеские собаки охраняют овец.

– Подумаешь! Мой Орос не только это умеет! Он один на один любого волка загрызет. А прошлым летом вместе с нами чуть в песчаную бурю не попал. – Расскажи, – прошу я. – Хорошо. В тот день на пастбище прискакал наш председатель. Крикнул, что идет песчаная буря. И мы сразу погнали отару домой. По пути все время оглядывались. Далеко на горизонте виднелась узкая черная полоска. Она приближалась, росла, заволакивала небо. Мы еле-еле успели пригнать овец. А потом сидели в юрте на кошме: пили чай. Снаружи было темно, как ночью. Юрта сотрясалась от ветра, на зубах хрустел песок. Орос лежал в углу и тихонько скулил. А отец взял комуз и запел старинную песню о том, как красива пустыня, как прекрасна ее душа...

– Вот это жизнь!– восхищенно произнес Равшан. – В городе что увидишь. Проснулся– иди учиться. Вечером позанимаешься на скрипке– и опять спать. Скучотища одна! – А ты летом приезжай ко мне на каникулы. – предложил Пулат. – Научу на лошади ездить.

– Я бы приехал, – вздохнул Равшан. – Да родители не отпустят. – Можно мне тоже приехать? – неожиданно для себя говорю я.

– Конечно, Маша. Тебе понравится, обязательно понравится. Все думают, подумаешь,

пустыня, что там смотреть. А она знаешь, какая разная! Весной, когда трава по пояс, и летом! Пустыню только понимать нужно... Ой, директор идет!

Действительно, в столовую неожиданно вошла Людмила Алексеевна. Она прошла между столами, заглянула на кухню, потом подошла к нам.

– Ну, как дежурится? – поинтересовалась она, потом сказала:– Ирочка аккуратнее, аккуратнее нужно. Погляди, у тебя все все куски разные. Дай нож.

Директор придвинула к себе батон колбасы, сняла целлофановую обертку и быстро и ловко начала нарезать одинаковые, похожие один на другой ломти. – Людмила Алексеевна, – спросил Равшан. – Правда, что десятиклассники поедут на зимние каникулы в Петербург?

– Наверное, поедут, – утвердительно кивнула она. – Отдохнут, наберутся новых впечатлений. Город-то прекрасный!

– А почему только они? Мы тоже хотим в Петербург! Людмила Алексеевна вздохнула. – К сожалению, школа не может послать всех учеников. Но у нас все же возникла одна идея.

– Какая? – в один голос поинтересовались мы. – Не сейчас, не сейчас, – она вернула нож Ире, потом повернулась к Пулату. – Пойдем со мной, – произнесла Людмила Алексеевна и вдруг провела рукой по его темной короткой шевелюре. – Пойдем, нужно поговорить, сынок, – добавила она. – Интересно, о чем это они будут разговаривать? – сказала Синицына.

– Может, за что-то поругает? – предположила Ира. – У него сегодня день рождения, а кто ругает в такой день, – не согласилась я. – 355, 356, 357, – громко отсчитал Равшан. Потом закричал во все горло:– Ура! С колбасой закончили!

Из раздаточного окошка высунулась голова повара тети Гали. Она неодобрительно покосилась на нас.

– Накрывайте, накрывайте столы. Второй завтрак скоро... А ты, крикун, возьми еще кого-нибудь и дуйте быстро на склад, за стаканами. Принесите штук сорок, а то боя много... Но вот окончен второй завтрак, мы опять поставили стулья на столы вверх ножками, протерли швабрами пол в столовой. Теперь у нас есть свободные тридцать минут. Школьный врач Роза Альфиятовна и молодая, смешливая медсестра Света снимают на кухне пробу– изо всех сил дуют на ложки и осторожно пробуют горячий, дымящийся борщ.

– Что будем делать? – спрашивает Ира. – Я, например, в библиотеку, – говорит Синицына. – Мне Елена Борисовна обещала свежую «Юность» оставить.

– Ну а я в физкультурный зал, – отзывается Равшан. – Посмотрю, как там наши в баскетбол гоняют.

– Только не опаздывайте, – предупреждает Ира, – ровно без десяти час, чтобы все были на месте...

Я выхожу из столовой, чтобы размять ноги, обхожу спальный корпус и неожиданно вижу, что на моей любимой скамейке, рядом со старым островерхим тополем, сидит Пулат.

Он сидит, откинувшись на спинку скамейки, его почему-то опухшие глаза закрыты,

лицо напряжено и мне кажется, будто он старается оживить в памяти долгую цепочку барханов, идеально круглое, словно вычерченное циркулем, раскаленное солнце, тонкий свист ветра, рьяб на песке, одинокий куст саксаула, отбрасывающий короткую тень. – Я сегодня уезжаю, – вдруг говорит Пулат. – Насовсем.

– Как насовсем? – оторопело переспрашиваю я. – Звонили из дома. Отец сильно поранил ногу, врачи, говорят, нужна ампутация. А после отца в семье – я старший.

– Может, все еще обойдется? – пытаюсь утешить его я.

Он что-то хочет ответить, но отворачивается, и я вижу, как вздрагивают его плечи от беззвучных слез.

Директор сказала, что я в любое время смогу возвратиться... А дома буду рисовать. Пустыню, верблюдов, людей... Маша, можно буду тебе писать?.. Хоть иногда? – Конечно. Обещаю сразу отвечать на каждое письмо. – Подожди меня здесь, я быстро, – просит Пулат и бежит в спальню.

Я гляжу ему вслед и понимаю, как мне будет его не хватать...

Пулат вернулся, протянул свернутый в трубку небольшой лист ватмана. Я развернула его, увидела свое лицо за дождевым стеклом. По стеклу медленно сползают дождевые капли, оставляя за собой бороздки следов. Пасмурно – и серые тени лежат у меня под глазами, прячутся в уголках плотно сжатых губ. И я о чем-то мечтаю под аккомпанемент дождя...

Мы молча стоим на школьном дворе, смотрим, как Пулат садится в интернатовский «Москвич». С ним садится и Галина Римовна, чтобы отвести на вокзал и посадить на поезд.

Москвичевский мотор не желает заводиться, шофер Боря, открывает капот, начинает проверять свечи.

– Ребята, – вдруг вспоминает Синицына. – Мы Пулату на день рождения так ничего и не подарили!

– Пусть каждый принесет любимый рисунок? – несмело предлагаю я.

– Правильно! – поддержали меня все. – Вы только не уезжайте!

Я тоже поспешила в спальню, выдвинув из-под кровати чемодан, в самом его углу нащупала острую грань. Мой талисман. Крошечный осколок небесно-голубого камня – лазурита. И, крепко зажав в ладони, попросила: – Пожалуйста, помогай теперь Пулату.

Во дворе шофер Боря наконец завел мотор. Опершись на капот, он курил и терпеливо ждал, наблюдая, как со всех сторон протягивали Пулату рисунки. Космические корабли. Натюрморты. Зверей в зоопарке. Свободные композиции. Изображения гипсовых масок, хранящихся в учительской и с величайшей осторожностью выдаваемых на уроки. Рисунки ложились один на другой, превращались в большую стопку и хозяйственная Синицына, вытащив из кармана бечевку, ее перевязала.

Пулат бережно взял рисунки, обернулся, посмотрел на меня. Тогда я шагнула вперед, раскрыла ладонь и протянула ему осколок небесно-голубого камня. – Талисман – объяснила я – На счастье.

– Ну все, ребята, – объявил шофер Боря. – Нужно ехать, а то на поезд опоздаем. Машина

медленно тронулась с места, осторожно развернулась на школьном дворе, и мы увидели, как Пулат опустил стекло, высунул голову и крикнул изо всех сил: – Я вас никогда не забуду!...

## Академконцерт

Я сижу в родном двадцать четвертом классе и разыгрываюсь. Клавиша ми бемоль третьей октавы западает и, пробегая арпеджиями клавиатуру рояля, попадая на эту ноту, мой палец не находит привычной опоры. Прошло уже минут пятнадцать, как педагоги спустились на первый этаж в зал, и академконцерт, наверное, начался. Мне не хотелось, переминаясь с ноги на ногу, томиться в крошечном тамбуре перед дверью зала в ожидании своей очереди.

«Светка Алсуфьева играет сейчас сонату. Или этюд», – подумала я. Потом, как счита-лочку, быстро произнесла:

– Алсуфьева, Богунова, Демакова, Икрамова, Исламова, Квасникова.

Моя фамилия была шестой и это значило, что до самого окончания школы все академконцерты, экзамены, коллоквиумы, зачеты по гаммам, читке нот с листа всегда будут приниматься в этом, раз и навсегда установленном порядке: Алсуфьева, Богунова, Демакова, Икрамова, Исламова и лишь потом я, Квасникова. «Играть первой все-таки лучше», – подумала я, представив, как Светка смело заходит в зал и потом, после экзамена, вдруг начинает бледнеть и, обхватив руками голову с пышными светлыми волосами, шепчет: «Ой, девочки, мне только сейчас страшно стало». Я смотрю на ноты, стопкой лежащие на рояле. Сверху – толстый коричневый том с вытесненным на обложке выпуклым профилем Моцарта. Лицо его, задумчиво и сурово. И мне кажется, что Вольфганг Амадей Моцарт напряженно думает сейчас о том, как я, ученица Маша Квасникова, исполню на академконцерте его знаменитую сонату номер десять.

Я беру ноты, медленно перелистываю страницы. За сонату я совсем не волнуюсь. Самые трудные места получаются звонко и чисто. Я чувствую себя сухой и поджарой, похожей, наверное, на маленькую антилопу, во время бега высекающую из каменистой почвы светлые искры. Как-то я рассказала про эти свои ощущения Виктору Константиновичу.

Он улыбнулся, потом сказал: – Ты права. Во время исполнения никогда нельзя раскисать, нужно быть собранной, все время думать, думать, думать... – и добавил: – Вот, ты слишком форсируешь звук, а эта соната должна звучать так, будто ее исполняют на клавесине. Старинный инструмент клавесин я однажды видела на концерте в Консерватории. И удивилась. Его клавиши были черного цвета.

– Ну-ка догадайся, – спросил Виктор Константинович. И видя, что я молчу, объяснил: – В те времена считалось, что изящные белые женские ручки лучше смотрятся на темном фоне. Поэтому, клавиши делали черными.

Я опускаю руки на клавиатуру, смотрю на свои пальцы с обгрызенными ногтями – привычка, от которой не могу избавиться и думаю, как бы смотрелись на темном фоне мои руки? Тогда, на концерте, меня поразило звучание клавесина – будто по хрустальной



вазе провели металлической палочкой. Я долго добивалась похожего звука, много раз повторяла каждый пассаж, каждую ноту. И однажды Виктор Константинович, улыбувшись, поднял большой палец вверх...

Задержавшись в учительской, Виктор Константинович прошел в зал последним. Он сел, огляделся. Заведующая фортепианным отделом Дамира Юлдашевна разложила перед собой индивидуальные планы учеников, стопку экзаменационных листов, обернулась и, убедившись, что все педагоги уже собрались, сказала: – Ну что ж, начнем. Сегодня играют шестеро. Демакова заболела – ее мать мне с утра пораньше позвонила, а Икрамовой педагог попросил перенести академконцерт попозже. – Девочка участвовала в соревнованиях, много уроков пропустила, – встрепенулась Горбунова, – даже выполнила третий разряд по шахматам.

– Вообще-то наша школа профессионально учит музыке, – заметила Дамира Юлдашевна. – А если у Икрамовой преобладает шахматный талант, то может ей имеет смысл перейти в спортивную школу. Эту девочку мы тянем с третьего класса. – Ну если так ставить вопрос, – вздохнув, произнесла Горбунова, – то кто из наших учеников станет хорошим музыкантом? Единицы. А куда денешься? Тянешь и тянешь их из-за нагрузки... Вот, например, Шаповалов – ни слуха, ни ритма... – Это ваш крест, – улыбунулась Дамира Юлдашевна. – Доведете его до четвертого класса, потом переведем мальчика на дирижерский отдел – легче и ему и вам станет. У дирижеров требования по фортепиано гораздо легче... Давайте начинать... Виктор Константинович, вы ближе всех к выходу сидите. Пожалуйста, пригласите Алсуфьеву...

...Я все же не выдерживаю и медленно подхожу к двери в зал. – Кто играет? – интересуюсь я. – Светка Алсуфьева, – сообщает Юлия Богунова. И добавляет: – Слышала. Икрамовой и Демаковой сегодня не будет, так что все закончится быстро... Пойдешь с нами в кино? На четырехчасовой сеанс американский боевик крутят.

– А билеты достанем? – Мальчишки обещали взять. – Квасникова, оказывается ты мою сонату играешь! Я оборачиваюсь. Милочка Хачатурян, прищурившись, недовольно глядит на меня. – Не твою, а Моцарта. Извини, а почему я не могу ее играть?

– Потому что играю ее я! Милочка считалась лучшей пианисткой школы. И привыкла относиться к одноклассникам сверху вниз. Впрочем, у нее были на это основания.

Я хорошо помнила, как месяц назад в школьный двор неуклюже въехал большой голубой автобус с надписью «Телевидение» на боку. Выскочившие из него люди потянули в здание гибкие как змеи длинные провода, осторожно понесли софиты. Потом телеоператор долго усаживал Милочку за рояль, заходил справа, слева. Милочка играла Шопена, картинно откидываясь и закатывая темные с поволокой глаза, а затем, снисходительно слушала, как директор Людмила Алексеевна рассказывает, какая она, Милочка, талантливая, как добросовестно относится ко всем без исключения предметам, активно участвует в общественной жизни школы и готовится к конкурсу пианистов... – Виктор Константинович, – Вам нравится, как Мила играет? – однажды спросила я своего педагога.

Он задумался, потом ответил: – Мила, конечно, способная девочка. Но уверен, ты можешь играть гораздо лучше. – И добавил:– Не обижайся. Пока ты похожа на утенка из сказки Андерсена... Но вспомни, чем заканчивается эта сказка...

– Хочешь послушать, как я играю сонату? – вдруг неожиданно для себя предлагаю Милочке. – Пойдем в двадцать четвертый класс.

Милочка снисходительно кивает. Я села за рояль, коснулась клавиш. И, словно соскучившись по теплым человеческим пальцам, инструмент звонко пропел упругую тему – первые такты сонаты Моцарта номер десять.

«Вперед, вперед!– мысленно команду себе я. – Темп, темп, не смей раскисать!» И с кончиков пальцев, один за другим, срываются звуки, похожие на звучание старинного клавесина, будто по хрустальной вазе провели металлической палочкой. Я дослушала пока затихнет, пропадет последний звук, обернулась. Милочка сидела молча, потом криво улыбнулась и старательно–равнодушно заявила:

– А не боишься, что твое исполнение будут сравнивать с моим? Ведь я играю после тебя. «Ей не понравилось. Ей, конечно не понравилось!»– решила я. И испугалась, что подведу Виктора Константиновича. Ведь он так грустно сказал вчера вечером на последней репетиции. Сказал, смущаясь, стараясь не встречаться со мной взглядом: – Маша, я очень, очень надеюсь на тебя...

Милочка пошла разыгрываться, а я, опустила крышку рояля и прижалась к ней головой. Потом закрыла глаза...

...Луи Маршан подошел к клавесину, чуть откинувшись, осторожно присел на краешек оббитого дорогим красным бархатом стула. Быстрым движением потер друг об друга маленькие изящные кисти рук. Бах тоже постотрел на свои руки. Широкие в ладонях, с длинными пальцами, они очень были похожи на крестьянские, привычные к любой работе. Могли сжимать рукоятку плуга, обтесывать камни, строить дома. И ему вдруг показалось, что он, одетый в потрепанный старый камзол, в немодном парике, выглядит странно в этом прекрасном зале, где собрались разряженные придворные и сам король. По желанию короля Августа он всю ночь в тряской карете добирался сюда, в Дрезден, чтобы посостязаться с Луи Маршаном, известнейшим музыкантом Европы. Маршан эффектно бросил руки на клавиатуру, и его пальцы, словно легкие бабочки, запорхали по клавесину, извлекая серебристые журчащие звуки. «Мюзетта, дорогая Мюзетта, красавица Мюзетта»– мелодия веселой французской песенки закружилась по залу.

Не переставая играть, Маршан чуть повернул голову в завитом, надушенном парике, незаметно взглянул в зал. Как всегда, все идет прекрасно. Вот герцогиня с дорогим ожерельем на поблекшей шее, позабыв о духоте, перестала обмахиваться веером, а его величество благожелательно постукивает по подлокотнику кресла. Сейчас он, Луи Маршан, проведет тему этой песенки в басах, пробежит клавиатуру двойными октавами, следующую вариацию расцветит триллерами. И сейчас еще раз покажет свое умение. Кто в Дрездене,

и даже во всей Германии сравнится с ним, когда Франция признает его, Луи Маршана, первым музыкантом Европы! И король Август хорошо понимает это, раз предложил жалование в полторы тысячи талеров!... Улыбаясь, Маршан кланялся аплодирующему залу и, направившись к королю, едва не задел какого-то человека в скромном черном камзоле, стоящего рядом с клавино. – Великолепно, мсье Маршан, восхитительно. Мы весьма и весьма довольны, – произнес король и неожиданно добавил: – Теперь попросим показать свое искусство господина Баха. Маршан недоуменно обернулся. Человек в черном камзоле, как-то основательно, совсем по-крестьянски, устроился за клавино, заиграл первые такты прелюдии. Ее звуки, казалось, рождались из самого сердца инструмента, заставляя, заставив дыхание, вслушиваться в каждую ноту, в каждый пассаж.

– О-о-о-о! – пронеслось по залу удивленное восклицание.

«Мюзетта, дорогая Мюзетта, красавица Мюзетта» – изящная, как северский фарфор, мелодия той же самой французской песенки, что играл Маршан, зазвучала под пальцами Баха. И всем, собравшимся в этом зале, вдруг показалось, что музыка превратилась в молодую грациозную девушку. Она присела в церемонном поклоне, и в ее блестящих глазах жили грусть, радость, ожидание счастья... Луи Маршан насторожился. Какая неслыханная доселе манера игры! Он, Луи Маршан, объездивший многие города Франции и Италии, никогда не встречал подобного. А что за смелые модуляции, величественная гармония. Непостижимо! Фантастично! Он наклонился к стоящему рядом разряженному вельможе, спросил:

– Кто это? – Веймарский органист Иоганн Себастьян Бах. А Бах порывисто встал из-за клавино, быстрыми шагами подошел к французу. – Господин Маршан. Мне приятно познакомиться с таким даровитым музыкантом, как вы. И беру на себя смелость пригласить к дружескому состязанию на органе.

Потом вынул из кармана камзола карандаш, быстро набросал на нотном листке несколько строчек. Произнес, протягивая листок Маршану:

– Вот тема для импровизации. Соблаговолите создать свою.

– Господа, господа, какой превосходный ждет нас завтрашний вечер! – громко сказал один из королевских придворных. – С разрешения вашего величества приглашаю всех в свой дом. Там, кстати есть прекрасный орган.

– Что ж, мы с удовольствием посетим сие дружеское состязание двух достойных музыкантов, – произнес король Август...

Луи Маршан удобно вытянул ноги, откинулся на сиденья. Карета катила быстро и четверка свежих сильных лошадей с каждым мгновением уносила его все дальше и дальше от Дрездена.

Маршан посмотрел в окошко кареты. Стояло раннее утро, но на полях уже трудились крестьяне. Одета в лохмотья, маленькая девочка лет пяти погоняла хворостинкой худую корову с обломанным рогом. Корова упиралась, не хотела идти и, задрав морду вверх, громко мычала.

«Как бедны крестьяне в Германии, – подумал Маршан. – Хотя и во Франции они не намного богаче».

Он вздохнул. Совсем неплохо приобрести имение какого-нибудь разорившегося аристократа. С лесом, лугами, речкой, удобным домом и, конечно, несколькими деревеньками. А, главное, дворянский титул. Маршан представил, как заметив его карету с пышным гербом на дверцах, крестьяне снимают шапки, низко кланяются. Да, черт возьми, приятно быть обладателем громкого титула. Граф де Маршан. Маркиз де Маршан. Герцог де Маршан. Как это ласкает слух! Он уже приглядел себе имение в Пикардии. Со старинным замком. Речкой, змеящейся между лугами. И чтобы купить его, принял предложение короля Августа. Полторы тысячи талеров жалованья – огромная, невиданная сумма! Маршан до крови закусил губу. И откуда только на его пути взялся этот Иоганн Себастьян Бах! Организм из какого-то заштатного городишки.

Но... Нужно признать, в этом городишке живет действительно гениальный музыкант. Маршан вздыхает опять. Нет, он поступил правильно, что не стал дожидаться состязания, а ранним утром, наняв карету, втайне покинул Дрезден. На его репутацию первого музыканта Европы не должно лечь ни единого пятна.

А поместье... Ну что ж, он, Луи Маршан, умеет терпеливо ждать. Сейчас он отправится в Мадрид. И его величество король Испании, конечно, с радостью примет его на службу...

...Я удобно села за рояль, попробовала педали, и вдруг этот тесный физкультурный зал, где вдоль стен стоят шведские стенки и свисает с потолка толстый канат, на котором так здорово раскачиваться, медленно закружился, поплыл, и я, ученица седьмого класса Маша Квасникова, оказалась перед старинным клавесином. Его клавиши были черны, как ночь. Я положила на них руки, улыбнулась, подумала, как, наверное, эффектно выглядят они на темном фоне, и взяла первые ноты знаменитой сонаты Вольфганга Амадея Моцарта номер десять.